

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

ВОКРУГ СВЕТА

Николай Гарин-Михайловский

Вокруг света

«Public Domain»

1898

Гарин-Михайловский Н. Г.

Вокруг света / Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain», 1898

«Скрылись из виду берега прекрасной Японии. Наш путь на Сандвичевы острова. Кругом все тот же беспредельный, тот же и в бурю синий Тихий океан. Едва заметные широкие волны равномерно поднимают и опускают наш пароход. А между тем эти волны высотой в многоэтажный дом. Но они широки, равномерны и потому не чувствительны...»

Содержание

I. На пароходе в Тихом океане	5
II. Ми-хо-то	8
III. Гонолулу	10
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Николай Гарин-Михайловский

Вокруг света

I. На пароходе в Тихом океане

Скрылись из виду берега прекрасной Японии. Наш путь на Сандвичевы острова.

Кругом все тот же беспредельный, тот же и в бурю синий Тихий океан. Едва заметные широкие волны равномерно поднимают и опускают наш пароход. А между тем эти волны высотой в многоэтажный дом. Но они широки, равномерны и потому не чувствительны.

Солнце светит, греет палубу и ярко блестит, переливая изумрудом и бирюзой след нашего парохода.

То низко-низко опускаясь, то взвиваясь к небу, за нашей кормой день и ночь несутся без устали какие-то странные коричневые птицы, с длинными и узкими, как ножи, крыльями, с длинными шеями, с большими тяжелыми головами. И в такт крыльям старчески трясутся и качаются их головы, как бы говоря: «Да, да, всё мы видели и всё мы знаем».

Тихо в этой водной пустыне, ни паруса, ни дыма на горизонте. И только со звоном отбивает такт машина парохода: что-то и могучее и в то же время усталое, жалующееся в этом звоне.

Время идет однообразно, я знакомлюсь со своими спутниками.

Там, на суше, все эти люди будут опять и сухи и деловиты. Вся проза будничной сутолоки опять четко выпишется на их лицах и складках их лиц, но теперь у нас у всех – месяц обреченных мерно качаться на этих волнах, покой и праздничный отдых. Мы не хотим прозы, мы избегаем поглубже заглядывать в душу друг другу; мы верим на слово, что мы все таковы, какими хотим казаться.

Каждый день в семь часов утра высокий и тонкий американец, мистер Фрезер, уже меряет быстрыми большими шагами палубу. На нем фланелевый утренний костюм и белые штiblеты. К завтраку он переоденется, к обеду наденет смокинг; погуляв, он примет ванну, будет опять гулять, спустится затем в свою каюту и появится снова уже к утреннему чаю. Он систематично и умеренно будет есть апельсин или яблоко, бифштекс, сочный, кровавый, яйца, еще что-нибудь и запьет все это чашкой чая. Полчаса, час после чаю сидит на палубе рядом с кем-нибудь и разговаривает; затем он отправляется в библиотеку, пишет там письма, читает и за полчаса до завтрака опять быстро ходит по палубе. Так как таких делающих свой моцион очень много, то ходят все по часовой стрелке, обгоняя или нет друг друга.

После обеда мы собираемся в столовую, и Фрезер играет нам на рояле. Играет он выразительно, у него красивое мягкое туше, он знает и любит музыку.

Однажды он заиграл «Лето» Чайковского и, улыбаясь, обратился ко мне.

Я плохой музыкант, но на этот раз вспомнил и назвал.

Музыка как-то идет к Фрезеру, – она ярче подчеркивает его.

Есть люди, которые производят на вас такое же гармоническое впечатление, как музыкальная мелодия. Их поступки, слова дополняют друг друга, все усиливая нарастающее впечатление.

В Фрезере постоянно чувствуется и правдивый, и очень деликатный, и очень вежливый в то же время человек. Он был солдатом американской армии и, заболев на Филиппинах злокачественной лихорадкой, возвращается теперь, по окончании войны, домой. Он принимал участие в нескольких сражениях и отзывается о победах американцев очень скромно.

– Борьба была слишком неравная... Но положение там создалось очень тяжелое для американцев, и вряд ли можно было избежать этой войны.

Несколькими штрихами он иллюстрировал порядки испанских колоний, с их заносчивой администрацией, не брезгавшей всевозможными несправедливыми поборами. Еще хуже влияло на жизнь католическое духовенство. Влияние насильственное, распространявшееся не только на католиков; так, например, производились поборы в пользу католических монастырей и с лютеран. А если кто упрямился, того бойкотировали – у таких ничего не покупают, ничего им не продают и вконец подрывают им торговые дела. Этим не ограничивались: унижали и издевались, пользуясь безвыходностью. Епископ, например, идя по улице, протягивает руку, как бы невзначай, какому-нибудь не католику купцу. Не поцеловать протянутую руку значит поставить крест над собой и над всей своей деятельностью в тех местах. Словом, все то же, что было и в семнадцатом столетии.

Всевозможные запретительные пошлины, с неустановленной, постоянно изменчивой системой притом, вконец тормозили как производительность местного населения, так и торговлю. Из всего извлекала выгоды только кучка людей, причем за каждый такой рубль выгоды этой кучки и население и торговля платились тысячными убытками.

– Положение и американцев и англичан, – говорил Фрезер, – таково, что ценой всей своей культуры, всего своего существования они должны добиваться свободных рынков. Свободный рынок без захвата страны выгоднее для нас, потому что с захватом связывается множество расходов. Но для данной страны наш захват выгоднее, потому что с ним вместе мы приносим и нашу культуру, и нашу свободу, и нашу организацию, и наши школы.

Фрезер много читал, знаком хорошо с французской, немецкой и нашей литературой и выше всех ставит английскую, а в ней его слабость – Киплинг. И главным образом за то, что, прожив всего четыре года в Америке, Киплинг так понял и описал американцев, как до сих пор никто из своих, даже американских писателей не описывал. Из русских Фрезер читал Л. Н. Толстого, Тургенева, Достоевского. Он преклоняется перед беллетристическим гением Л. Н. Толстого и перед его вечно молодой энергией в поисках истины. От Тургенева он в восторге:

– Что-то девственное, чистое, ароматное, как дыхание весны. И столько родственного! Кто читал Тургенева, не может не симпатизировать вашей нации: она рисуется грустной молодой девушкой, сидящей в своем тереме и мечтающей о суженом...

И Фрезера и всех наших пассажиров, англичан и американцев, очень трогало то обстоятельство, что я усердно каждый день по несколько часов занимался английским языком. Видя мои затруднения с выговором, Фрезер предложил мне свои услуги, и каждый день мы с ним читали авторов паровой библиотеки. Труднее других читался Киплинг, герои которого говорят не литературным языком, а жаргоном. И обороты и слова всех этих американских, индийских и английских жаргонов – прямо тарабарская грамота.

В числе пассажиров «Gaelig'a» едет немец А. Это плотный, лет сорока господин, очень добродушный человек, но очень щепетильный и обидчивый политик. У них с французом Н. столкновений множество на почве политики, – они постоянно ссорятся, а мы, остальные, мирим их.

Раз дошло до того, что они несколько дней не говорили между собою. Ссора произошла из-за Бисмарка.

Н. сказал, что Бисмарк, кроме величайшего зла, ничего не принес с собой на землю. Немец вскочил.

– Вы должны доказать это?!

– Нет ничего легче: это Бисмарк праву противопоставил силу, – после него и другие перестали стесняться и дошли до цинизма наших дней.

Немец говорил:

– Идея национализма, без которой человечество не может прогрессировать, – гений Бисмарка этой идее служил, и как мог он на право смотреть с иной точки зрения?!

И немец доказывал, что и Бисмарк великий человек и их теперешний император, который сказал знаменитую фразу, что промышленность – кровь в организме, – тоже великий человек.

Француз не стал слушать, сказал что-то резкое и ушел.

– Blut, Blut (кровь), – повторял немец.

Фрезер утешал его, говоря, что их императора очень и очень уважают в Америке, что Англия, Америка, Япония и Германия всегда будут одно в прогрессе...

Н. – француз и довольно легкомысленный. Ему лет тридцать. У него прекрасные белокурые волосы, красивые равнодушные глаза, холеные усы. Что-то детское в нем, капризное, беспечное и скучающее. Он уже перезнакомился со всеми.

Старика одного, американского сенатора, за любовь его к звездам называет инспектором звезд. Слушает его почтительно и, отходя, тем же почтительным голосом говорит нам по-французски, считая, что сенатор не понимает его языка:

– Он очень беспокоится: Great Dog (созвездие Большого Пса) пропал.

«Great Dog» Н. произносит так, точно давится. На замечание, что он, Н., резок с немцем, Н. отвечает:

– Я ему еще не то наговорю. С какой благодати я этой немецкой сосиске, начиненной шовинизмом прусского солдата, буду потакать? Пусть убирается в свои казармы и кричит там: «Да здравствует Бисмарк!» А здесь его Бисмарк только разбойник. И пусть это хорошо знает немецкая свинья.

Немец злобствовал и каждому из нас тихо доказывал, что Н. человек малообразованный, выродившийся, как все латинские расы: французы, итальянцы, испанцы, что будущность принадлежит не им, а англосаксам, германцам.

II. Ми-хо-то

В одиннадцать часов вечера мы уже все в своих койках. Н., переодевшись в свою пуджаму – из легкой материи куртка и широкие на шнурках шаровары, – заходит еще раз ко мне в каюту и говорит:

– Вы мне позволите, *cher maître*¹, посидеть у вас четверть часа? Может, мы выпьем по стакану сода-виски? Это хорошо перед сном.

Мы пьем сода-виски и разговариваем еще четверть-полчаса.

Один на один Н. симпатичнее. Виден в нем человек, наблюдающий жизнь, обобщающий факты, человек сердца, наконец. У него какие-то осложненные личные дела, он почему-то должен был очень быстро уехать из Иокогамы. Однажды вечером он зашел в мою каюту, держа в руках простой, но красиво сделанный деревянный ящичек.

– Сегодня я немного грустен, *cher maître*. Не хотите ли вы съесть со мной это печенье и выслушать историю той, которую вы никогда не видали, а я не увижу больше. Да, – вздохнул он, – пока так живешь изо дня в день, все кажется таким обычным, будничным, малоинтересным, но потом, когда это уже прошлое, получается иная окраска, и с иным чувством уже смотришь в окошечко, туда, где остался кусочек твоей навсегда ушедшей жизни. Я хочу рассказать вам о той, которая подарила мне этот ящик с печеньями. Это моя японская жена Ми-хо-то, с которой я расстался в Иокогаме. Это печенье она принесла, провожая меня на пароход, и, по обычаю, спрятала его у меня в каюте так, чтобы я не заметил его, и я только сегодня совершенно случайно нашел его и вспомнил обычай. Я был тронут. У них такое поверие, что если бы я, найдя, съел это печенье один, то это значило бы, что я опять вернусь к ней. И вы поверите, может быть, мне, что я колебался, не поступить ли мне именно так, чтобы исполнить желание бедной Ми-хо-то. Увы, это невозможно, конечно, – вы понимаете? Мы год были мужем и женой...

– Скажите, – перебил я его, – правда, что в Японии на любой девушке можно жениться на месяц, на два?

– Можно, но, конечно, не на любой: на девушке из чайного домика.

– Только?

– Да. И моя Ми-хо-то была оттуда же. Но, хотя они и девушки из чайного домика, но на такой брак они смотрят так же серьезно, как и на обыкновенный. Ми-хо-то даже хотела и зубы себе почернить в знак вечной любви, но я категорически запретил и поклялся, что в тот день, как она это сделает, сбегу от нее. Ах, вы себе представить не можете, что за преданное, верное существо японская жена. Как она покорна, робка! О, до какого иногда бешенства доходил я от этой вечной покорности, приниженности, поклонов и приседаний! И чем больше я бешусь, тем больше боится она – забьется в угол и дрожит, сидя на корточках, и смотрит, не сводя с меня глаз. Но зато, когда подзовешь ее и погладишь, как она ласкалась! Каким гением считала меня! Нет такой глупости, в какой я не мог бы ее убедить. Не было ничего такого, чего я не мог бы сделать, по ее мнению. Если бы я сказал ей: «Ми-хо-то, завтра я уничтожу Иокогаму и всю Японию», – она поклонилась бы и сказала: «Ши, мой повелитель».

Когда она узнала, что я еду, – я, конечно, сказал, что уеду на время, – она потеряла аппетит и сон. Проснусь иногда и вижу, что она сидит надо мной и плачет. «Спи». – «Ши, мой повелитель», – свернется клубочком и лежит без движения, пока я не засну. А что я ей давал? Свою душу? Между нами ничего не было общего, – люди двух разных миров, разных понятий, – вы понимаете? Давал иногда, раз в полгода, двадцать-тридцать долларов, чтобы

¹ дорогой учитель (франц.).

угостила своих родных и сделала им подарки. И какое счастье, восторг... Каким святым она ни молилась, провожая меня в дорогу: к одному побежит, к другому опять исчезнет; бегала еще к тому на горе, который бурю посылает... Каждую мою вещь, укладывая, целовала и шептала ей что-то: это она просила вещь напоминать мне об ней... А какое счастье было, когда я позвал ее с матерью провожать меня на пароход. Она только об одном печалилась, что нет от меня сына с волосами богов: белокурые волосы – принадлежность богов по их мнению. «Ах, если бы у меня был сын, – говорила она, – мне легче было бы перенести разлуку с тобой».

Н. начал раскупоривать ящичек с печеньем, и когда раскрыл его, то сверху печенья оказался лист, исписанный по-китайски.

Н. внимательно разобрал сперва сам, а потом перевел.

– Это ее стихи, вот их смысл: «Каждое утро я буду вставать и кланяться солнцу, чтобы оно передало тебе, как я люблю тебя. Я буду шептать ветру, чтобы он передал тебе, что вся моя душа летит к тебе. Где бы ты ни был, я всегда буду с тобой, я буду ждать тебя терпеливо, а когда не хватит больше сил – я умру, и ты тогда опять увидишь меня: я прилечу к тебе птичкой и все буду петь о своей любви».

Н. растроганно смотрел на меня и говорил:

– Нет, конечно, это очень трогательно... Правда? Я сказал ей, что приеду, но как же иначе?..

Я слушаю Н., пробую вкусное печенье и вспоминаю маленькую робкую фигурку Ми-хо-то, когда она торопливо пробиралась среди пассажиров в момент, когда надо было провожающим оставить пароход. Я вспоминаю и фигуру Н., со смущенной торопливостью шедшего впереди Ми-хо-то и ее матери. Он последний раз кивнул им головой, когда они были уже в лодке, и потом долго сидел один на палубе. Потом мы познакомились, он стал острить. Теперь, окончив свой рассказ, он сидел с таким же, как тогда на палубе, лицом и, лениво встав, говорит нехотя;

– Пора спать, *cher maître*.

III. Гонолулу

Приятно увидеть опять землю, а тем более такой исключительно счастливый уголок вечной весны, как Гонолулу.

То, о чем читал только, что снилось, может быть, вечная весна, вечное тепло, то я вижу теперь собственными глазами. Великолепные пальмы, ананасы, бананы... Весь в зелени тропической растительности тонет плоский берег Гонолулу. Из-за зелени уютно выглядывает город. Праздничное тихое утро. Солнце греет своими лучами, и нежно плещется маленькая голубовато-зеленая волна о сваи набережной. Это волна все того же Тихого океана, но сам он, гигант, во всем своем великолепии там, на горизонте, а здесь, у берегов этого вечнозеленого с прекрасным климатом Гонолулу, – это залив, такой глубины, однако, что наш корабль подошел к самому берегу.

Там, на берегу, стоит толпа в самых легких костюмах: лица смуглые, загорелые. Вот бронзовое лицо малайца, вот черное негра, оливковое испанца, метиса, японца. Вот веселая свадебная группа местных колонистов: веселые, крикливые, сухие, длинноногие, все увитые гирляндами цветов. Яркая, пестрая картинка юга в блеске радостного южного утра земли. Мы все на палубе, Н. стоит в летней шляпе с тюрбаном, в костюме из легкой фланели, в цветной рубашке, с поясом, без жилета.

Вышла дама нашего стола, опять в новом, двадцать первом костюме, легкая и воздушная, в тон всей остальной праздничной обстановке.

Мы спешим на берег.

Красивый малаец предлагает нам свой парный экипаж.

– Нет, идем пешком, – говорит Н.

– Куда идем?

– Купим фрукты, пойдем прогуляемся, потом отправимся завтракать в ресторан, а потом обсудим, за город поедem, вообще узнаем...

Прямо от пристани громадное длинное стеклянное здание: это рынок. На его прилавках играет в лучах солнца и зелень, и фрукты, и рыба. Глаза разбегаются, – так ярко, красиво, свежо. Рыб целая коллекция: серебряные, золотые, белые, синие, и многие из них странных, невиданных форм.

Мы ходим по улицам. Маркизы, дома, как дачи, масса зелени, гигантские пальмы, все опять и непрерывно говорит о радостях постоянного тепла. Такой уютной, налаженной кажется жизнь. Идет громадная малайка с мясистыми, но приятными чертами добродушного лица, – род широкой блузы свободно колышется на ней, и сквозь легкую материю проглядывает ее смуглое тело. Проходят сухие американцы, скромные, деловитые, такие же сухопарые, но чопорные англичане...

Вот городская ратуша. На ней развешается американское знамя. Три года назад эти острова были Гавайской республикой, и царили здесь испанцы. А еще год назад умер последний гавайский король Каракао. Последнее время он потерял всякий престиж и жил и умер в Сан-Франциско.

Он путешествовал как-то в Европу, облюбовал в ней Бельгию, в Бельгии – Брюссель, в Брюсселе один из кабачков, где и проводил все свое, время.

После завтрака в красивой, богатой, но страшно дорогой гостинице (здесь, впрочем, все дорого, американский доллар равняется нашим двум рублям, но ценность его, по-моему, меньшая, чем наш рубль: за стрижку волос я заплатил полтора доллара, то есть три рубля) мы отправились в местный музей. Очень хорошенькое здание с яркой картиной здешнего вулкана Мауна-Лоа (такая же картинка в гостинице), с множеством портретов разных Кара-

као, когда-либо здесь царствовавших. Один из них был таким же преобразователем, как наш Петр.

Вот красивое лицо молодой малайки, – это дочь одного из Каракао, бросившаяся в кратер в начале нынешнего столетия. Тогда был страшный голод и жрецы требовали человеческой жертвы, и, чтобы спасти свою родину, она бросилась в вулкан. Память народная навсегда увековечила ее, – дух ее считается покровительницей всех этих островов. Я опять подхожу к картине здешнего громаднейшего в мире вулкана. Он имеет в окружности несколько миль, и в период сильных извержений от него течет огненная река в Тихий океан. Это море огня бывает, впрочем, ярким и красивым только в исключительные мгновения, когда вулкан не спокоен, в обыкновенное же время это серо-стальное, лишенное жизни, как бы застывшее озеро. Оно далеко, верст за восемьдесят, среди гор, оголенных и лишенных растительности. Наш пароход стоит только до вечера, и нам никак не попасть туда.

В большой зале музея, – зала в два света, – во весь потолок растянулось чучело рыбы-дьявола (defil-fish) – та пьевра, которую описывал Виктор Гюго в «Тружениках моря». Здесь в Тихом океане она вместе со своими щупальцами достигает нескольких сажен в диаметре. Самое тельце ее небольшое, круглое, серо-коричневое, и от него уже идут безобразные длинные лапы-крючья. Над тельцем возвышается величиной с небольшой арбуз шар, наполненный черной жидкостью. Когда эта дьявол-рыба хватается свою жертву, она в то же мгновение выпускает эту жидкость, отчего вода делается темной и мутной, в ней и исчезает это страшное видение со своей жертвой. Одной минуты достаточно, чтобы пьевра высосала всю кровь, всю влагу из схваченного ею человека. При такой быстроте, конечно, спасение немислимо.

Рядом с музеем помещается такое же, как музей, и даже более красивое здание.

Думая, что это тоже отделение музея, мы вошли в пустую переднюю, поднялись, по лестнице во второй этаж и только там убедились, что попали в школу.

Громадные классные комнаты, роскошные скамьи, расположенные амфитеатром, шкафы, доски.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.